E.M. Мягкова Тамбовский университет

Террор и насилие во Французской революции (опыт регионального прочтения)

Террор — один из наиболее загадочных и спорных эпизодов Французской революции. Долгое время он находился в центре внимания исследователей, но его история нередко искажалась, обнажая идеологическую пристрастность и ангажированность эпохи. Ситуация резко изменилась накануне 200-летнего юбилея (1989): зловещий образ якобинской диктатуры уступил место гуманистической триаде 1789 года (свобода—равенство—братство)1. Под непосредственным влиянием опыта строительства коммунизма интеллигенция усвоила специфическую позицию отторжения как по отношению к Французской революции, так и революциям вообще. Маятник научных приоритетов в современной России сместился вправо, и, несмотря на определенные усилия, призывы к переосмыслению сюжета² не привели к конкретным результатам. Одновременно во французской историографии имело место движение к центру. Ожесточенные споры «классического» и «критического» направлений сменились широким спектром представлений, пристальным вниманием к «культурной истории социального» (Р. Шартье)³. Тема террора, справедливо отмечает П. Генифе, напоминает «опустевшее поле боя двух непримиримых армий... Битва закончилась гибелью сражавшихся, и на развалины опустилась тишина»⁴.

Очередной этап наметился с середины 90-х годов³. Проблематика сюжета значительно обновилась, сделав его предметом самых различных интерпретаций. Когда начинается террор: 2 июня 1793 г., 10 августа 1792 г., в сентябре 1792 г. или июле—

Елена Михайловна Мягкова, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры всеобщей истории Института истории и политологии Тамбовского государственного университета. Сфера научных интересов — история Французской революции, крестьяноведение, историческая антропология. E-mail: elena miagkova@mail.ru

¹ Елуменау С.Ф. В поисках новых подходов: 200-летие Революции и французская историография // Французский ежегодник 2000. М., 2000. С. 36-45; Гордон А.В. Великая французская революция, преломленная советской эпохой // Одиссей. Человек в истории. 2001. М., 2001. С. 311-336; Ок же. Великая французская революция как явление русской культуры (к постановке вопроса) // Исторические этюды о Французской революции. Памяти В.М. Далина. М., 1998. С. 219-245.

² Черияк Е.Б. Актуальные проблемы изучения якобинской диктатуры // Актуальные проблемы изучения Великой французской революции. М., 1989. С. 59—72; Он же. 1794 год: актуальные проблемы исследования Великой французской революции // 200 лет Великой французской революции. Французский ежегодник 1987. М., 1989. С. 240—277; Он же. 1794-й год. Некоторые актуальные проблемы исследований Великой французской революции // Новая и новейшая история. 1989. №1. С. 77—95.

См.: Блуменау С.Ф. От социально-экономической истории к проблематике массового сознания.
 Французская историография революции конца XVIII в. (1945—1993). Брянск, 1995. С. 270—289.
 Генифе П. Политика революционного террора (1789—1794). М., 2003. С. 8.

⁵ Якобинство в исторических итогах Великой французской револющии. Материалы «крутлого стола» // Новая и новейшая история. 1996. №5. С. 73—99; Baecque A. de. Approviser une histoire déchaînée. Dix ans de travaux historiques sur la Terreur (1992–2002) // Annales. Histoire Sciences Sociales. 2002. An. 57. №4. P. 851—865.

октябре 1789 г.? Есть ли у него официальная дата «смерти»: 27 июля 1794 г., 9 ноября 1799 г.? Чем объяснить его происхождение: руссоистской идеей общей воли (теория «исторического фатализма»), объективными обстоятельствами или динамикой революционного процесса⁶? Возможно ли противопоставлять начало революции и II год Республики, экономическую свободу и диктатуру, являющиеся в действительности отдельными сторонами единого исторического потока?

Работы последних лет доказывают, что полноценное осмысление невозможно без обращения к истории провинций, с одной стороны, стихийному «низовому» насилию — с другой. Региональных работ о терроре много, однако они не столько раскрывают, сколько описывают его по аналогии с событиями в Париже. Механическое заимствование столичной схемы игнорирует местные особенности, скрывает реальные отношения солидарности и интересы, определявшие принадлежность людей к противоборствующим группам, лежавшие в основе конфликтов. Беспорядочное коллективное насилие, в свою очередь, имело долгую историю, где 1789-1794 гг. составляют лишь короткую главу. Вместе с тем ярко выраженные элементы преемственности со Старым порядком в поведении «толпы» претерпели заметное изменение, обратив «народ» в одно из главных действующих лиц революции. Его поведение имело принципиальную значимость для первых законодателей, говоривших от имени «нации» и выражавших ее единую волю. «Естественный», по теории просветителей, источник легитимности и единственный носитель суверенитета обернулся со временем жесткой идеологической аномалией: самый «демократический» 1793 год оказался временем наивысшего подъема антиреспубликанских настроений крестьян.

Вандейское восстание, таким образом, дает уникальную возможность для конструктивного соединения наметившихся новых подходов. Действительно, насилие и террор нашли здесь свое крайнее выражение и породили беспрецедентную по жестокости и количеству жертв гражданскую войну. Однако попытки «вывести» события 1793—1796 гг. на западе Франции за рамки феномена террора («франкофранцузский геноцид», «истребление») наталкиваются на серьезные возражения. Речь, скорее, должна идти о предельной реализации внутренней революционной логики, исключающей осмысление в терминах «заноса» или «исключительности».

...Властители ваших дум грешат поговорками, а главную забыли, что насильно мил не будешь, и укоренились в привычке освобождать и осчастливливать особенно тех, кто об этом не просит...

(Пастернак Б.Л. «Доктор Живаго»)

Начиная с «диких животных» Ж. де Лабрюйера, обширная литература XVII— XVIII вв. описывала крестьянство как людей, погрязших в невежестве и не имев-

⁶ См.: Бовыкин Д.Ю. Революционный террор во Франции XVIII в.: новейшие интерпретации // Вопросы истории. 2002. №6. С. 144—149; Мягкова Е.М. Террор и Вандея: профессиональный революционер на службе революции // Новая и новейшая история. 2003. №5. С. 235—237; Чудинов А.В. Суровое «счастье Спарты» (современники Французской революции о феномене террора) // Человек эпохи Просвещения. М., 1999. С. 173—187.

⁷ Dorigny M. Pouvoir central et pouvoirs locaux dans les projets constitutionnels de 1793 // Les Fédéralismes. Réalités et représentations 1789–1874. Aix-en-Provence, 1995; Duprat A., Jollet A. Provinces-Paris // Annales historiques de la Révolution française. 2002. Vol. 330. №4. P. 1–8; Forrest A. Regionalism and Counter-Revolution in France // Rewriting the French Revolution. Oxford, 1991. P. 151–182; Gérard A. Par principe d'humanité: la Terreur et la Vendée. P., 1999; Gough H. The Terror in the French Revolution. L., 1998; Guilhaumou J. Marseille républicaine (1791–1794). P., 1992; Lucas C. La structure de la Terreur. L'exemple de Javogues et du département de la Loire. Saint-Etienne, 1990.

Bonnet C. Mobiles et significations de la violence populaire dans les révoltes françaises (1789–1815) // Révolte et Société. Actes du Colloque. P., 1989. Vol. 2. P. 89-94; Lucas C. The Crowd and Politics // The Political Culture of the French Revolution. Vol. 2. Oxford, 1988. P. 259-285; Muller Ch. Du «peuple égaré» au «peuple enfant». Le discours politique révolutionnaire à l'épreuve de la révolte populaire en 1793 // Revue d'histoire moderne et contemporaine. 2000. T. 47. № 1. P. 93-112; Roche D. La violence vue d'en bas. Réflexions sur les moyens de la politique en période révolutionnaire // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations. P., 1989. An. 44. № 1. P. 47-65.

ших надлежащих (моральных и культурных) свойств. Их отсутствие становилось негативной характеристикой, и наоборот, эпитеты, прилагаемые к «мужикам», были синонимами сугубо отрицательных качеств: «неграмотный», «подвластный», «неполноправный», «язычник». Подобное отношение напрямую связано с философией Просвещения и объясняется ею. Даже «Общественный договор» Ж.-Ж. Руссо, провозглашавший и отстаивавший демократические, республиканские принципы, признавал, что народ далеко не всегда понимает, в чем именно состоит его подлинное благо. Но это должен осознавать законодатель — просвещенный и умудренный опытом человек, предлагающий проекты на всеобщее утверждение!

Появившийся в середине XVIII в. термин «нация» стал центральной категорией французской политической культуры¹¹. Нет ничего удивительного в том, что большинство современников, как правило, констатировали ее «испорченность». Среди факторов, определявших процесс формирования национального характера, особую пагубность имели «моральные причины» (история, политика) и лишь отчасти — «физические» (природа). Абсолютная монархия узурпировала «естественные права» населения, лишив его первоначальной добродетели. Наследием феодализма, в свою очередь, стала экономическая, социальная, культурная и языковая разобщенность территории страны, препятствовавшая складыванию гражданского общества¹². Так, вопреки сложившимся представлениям¹³ идея «очищения», «перерождения» (régénération) оформилась задолго до начала Французской революции.

Преобразование Генеральных Штатов в Национальное Собрание, статья 3 «Декларации прав человека и гражданина», первые меры Конституанты порождали закономерный и риторический вопрос: может ли нация выступать в роли единственного первоисточника легитимной власти, если она не существует в «аутентичной» форме? Признание несовершенства субъекта, во-первых, нивелировалось убеждением в сохранении (пусть и порочном) его главных сущностных черт и, следовательно, возможности отделить добрые семена от плевел. «Исправление» виделось вожделенным возвратом в золотое прошлое¹⁴, к временам галлов (celtophilie) и франков, их суровой аскетичности и чистым нравам¹⁵. Во-вторых, люди 1789 г. искренне верили в образ гигантско-

Dupuy R. Ignorance, fanalisme et Contre-Révolution // Les résistances à la Révolution. Actes du Colloque de Rennes. P., 1987. P. 35-42; Martin J.-C. Emergence et reconnaissance d'une culture paysanne // Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest. 1993. T. 100. №4. P. 631-639; Viguerie J., de. La Vendée et les Lumières: les origines intellectuelles de l'extermination // La Vendée dans l'Histoire. Actes du Colloque de La Roche-sur-Yon. P., 1994. P. 36-51.

¹⁰ Чудинов А.В. Утопии века Просвещения. М., 2000. С. 32-42.

¹¹ Bell A. The Cult of the Nation in France: Inventing Nationalism (1680-1800). Cambridge, 2001; Godechot J. The Concept of the Nation and its Diffusion in Europe // Nationalism in the Age of the French Revolution / Ed. by O. Dann and J. Dinwiddy, L., 1988. P. 13-26.

¹² Bell A. Le caractère nationale et l'imagerie républicain au XVIII-e siècle // Annales. Histoire Sciences Sociales. P., 2002. An. 57. №4. P. 867–888; Idem. Lingua Populi, Lingua Dei: Language, Religion and the Origins of French Revolutionary Nationalism // American Historical Review. N.Y., 1995. №5. P. 1403–1437.

¹⁹ Baecque A., de. Le corps de l'histoire: métaphores et politique (1770-1800). P., 1993; Hunt L. Politics, Cuture and Class in the French Revolution. Berkeley, 1984; Ozouf M. L'homme régénéré. Essai sur la Révolution française. P., 1989.

¹⁴ Самые радикальные из наказов в Генеральные Штаты 1789 г., провозглашая необходимость реформ, опирались в своей аргументации на традицию, уходящую в эпоху Хлодвига. В противовес абстрактным просветительским концепциям большинство современников пытались лишь отыскать чузурпированные» королевской властью права, восстановить некогда существовавшие законы и институты, возвратить утраченную справедливость. См.: Chartier R. Cultures, Lumières, Doléances: les cahiers de 1789 // Revue d'histoire moderne et contemporaine. P., 1981. Т. 28. № 1. Р. 68−93; Taylor G. Les cahiers de 1789: aspects révolutionnaires et non-révolutionnaires // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations. P., 1973. An. 28. № 6. Р. 1495−1514.

¹⁵ Французский классицизм XVIII в. воспевал гражданственность античности, но не столько греческой (за исключением Спарты), сколько римской, времен республики. Искусство в целом призывалось воспитывать чувство патриотического долга в противовес порочной сентиментальности. См.: Crow T. L'Atelier de David. Emulation et Révolution. P., 1997; Leith J. The Idea of Art as

го исторического слома. «Один единый момент, — писал Ж.А. Кондорсе, — создал разрыв, равный веку, между человеком сегодняшним и вчерашним» 16. Действительно, просветительская концепция прогресса ориентировала на «пульсирующее» восприятие времени 17, где на смену длительным периодам иммобилизма приходил чудовищный всплеск, ускорение, меновенная и ради-кальная смена социальной природы. Внезапность выглядела почти чудом и запечатлелась в воображаемом пространстве эпохи в образе великанов и карликов, восстания рабов, пробуждения ото сна, полива увядших растений 18.

Однако предполагаемое царство гармонии было далеко от воплощения: на смену великому страху и «заговору аристократов» пришли эмиграция, бегство короля, иностранная интервенция, повсеместные крестьянские «жакерии», бескомпромиссная борьба клубов и фракций. Пессимизм и разочарование не привели, впрочем, к полному развенчанию идеала. Мистическое «взрывное» перерождение обрело новый статус — долгого, трудного, болезненного процесса¹⁹. Не случайно в политическом дискурсе революции старое понимание «народа» (дикаря и варвара) уживалось с новым (скромного, мудрого, энергичного)²⁰.

Возникшая коллизия отчасти уравновешивалась библейским образом «заблуждения» и оставляла тем самым надежду вернуть грешника на путь истинный. Дворяне и неприсягнувшие священники, намеренно подогревавшие среди сельских жителей «мрачный фанатизм», объявлялись важнейшей причиной «помещательства»²¹. Таким образом, если отдельные факторы и восстанавливали крестьян против республики, то по сути своей они все же признавались «невиновными», жертвами. Парижская пресса патетически писала об «обманутых братьях», которым необходимо протянуть руку помощи, разбудить помутневший рассудок. Пагубные идеи проистекают из доверчивости и необразованности простолюдинов, и, следовательно, главной задачей правительства должна стать «гражданская педагогика» (начальное образование, пропаганда, революционные праздники)²².

Милосердие и снисхождение к мятежникам объяснялись твердым убеждением, что «великая революция обойдется без злодеяний и слез» (О. де Мирабо). Логика очевидна: только просвещенный законодатель способен понять, в чем состоит благо отечества; долг же простого гражданина — безропотно принимать к исполнению любой декрет собственных представителей. Однако речь здесь идет вовсе не о слепом повиновении силе и произволу прежних деспотических режимов. Так, главным достоинством Конституции 1791 г., с точки зрения Ж.-М. Колло-д'Эрбуа, является способность «подчинять своей власти самых заклятых врагов лишь силой ее абсолютной разумности»²³.

Propaganda in France (1750-1799). A Study in the History of Ideas. Toronto, 1965; Rivoire J.-A. Le patriotisme dans le théâtre sérieux de la Révolution. P., 1950.

¹⁶ Цит. по: Baecque A., de. Le peuple briseur de chaînes: Fracture historique et mutation de l'homme dans l'imaginaire politique au début de la Révolution française // Révolte et Société. Т. 1. Р. 211.

¹⁷ Гордон А.В. Великая французская революция как великое историческое событие // Диалог со временем (в печати); Постоутенко К. Часы и паровоз: эссеистические наблюдения над временем революционной культуры // Новое литературное обозрение. М., 2003. №64. С. 46—53.

¹⁸ Baecque A., de. Le peuple briseur de chaînes... P. 213.

¹⁹ Ozouf M. La Révolution française et formation de l'homme nouveau // The Political Culture of the French Revolution. Vol. 2. P. 213-232.

³⁹ Muller Ch. Op. cit. P. 95-96.

²¹ Ibid. P. 100-103.

²² Озуф М. Революционный праздник 1789—1799. М., 2003; Baceko B. Une éducation pour la démocratie; textes et projets de l'époque révolutionnaire. P., 1982; Hermont-Belot R. L'abbé Grégoire. La politique et la vérité. P., 2000.

²⁵ Entretiens du père Gérard avec des paysans sur les décrets de l'Assemblée Nationale, par J.-M. Collot-d'Herbois // Recueil de pièces pour servir à l'histoire de la Révolution française depuis la première Assemlée des notables jusqu'en 1800. Avignon, 1820. T. 39. Ne7. P. 5.

Вместе с тем меры, принимаемые для популяризации основных догм справедливейшего из миропорядков, плохо учитывали конкретную ситуацию в стране. Как правило, они были рассчитаны на идеальную упорядоченность системы власти, на «регулярное», одномерное общество с классической вертикалью соподчиненности (столица—провинция).

Поток современной исследовательской литературы доказывает, что Франция XVIII в. может расцениваться централизованным абсолютистским государством лишь в теории²⁴. Ее пространство было таким растянутым, что деревни, города, «края», области, провинции, говоры, древнейшие обычаи существовали порознь, в почти полной изоляции друг от друга. Просвещенным современникам (Ш.А. Калонн, О. де Мирабо) она представлялась лишь «мозаикой», части которой обладают заметной независимостью, даже если входят в одно политическое и религиозное целое²⁵. В ходе объединения (плода многочисленных завоеваний, браков, наследств и тяжб) королевская власть вольно или невольно заключала с жителями новых территорий ряд «исторических компромиссов» (Ф. Бродель). Неудивительно, что Прованс, Дофине, Беарн, Бретань, Эльзас и др. склонны были считать короля своим сеньором, графом или герцогом, отстаивать собственные привилегии, традиции и «свободы». К началу революции монархия не сгладила различий, «она лишь приспособилась к ним и постаралась использовать их себе на благо...»³⁶.

Действительно, привычные «провинции» не имели юридического статуса и отличались крайней расплывчатостью²⁷. Границы финансовых (генеральства), военных (губернаторства), судебных (бальяжи и сенешальства), церковных (диоцезы) округов не совпадали и пересекались между собой в удивительном беспорядке²⁸. Франция говорила на разных языках (патуа), организованных в целом в могучие «цивилизации» ойль и ок²⁹. Административная реформа 1790 г., разделившая страну на департаменты, дистрикты и кантоны, не просто долгое время оставалась на бумаге, но порождала вражду, ссоры, подозрительность и даже целые войны, затухавшие лишь для того, чтобы при первом порыве ветра вспыхнуть вновь.

Изначально Национальное Собрание планировало разделить Пуату на две части. Однако против этого решительно выступило население центральных регионов, подстрекаемое прокурором-синдиком А.-К. Тибодо, и вынудило законодателей к созданию третьего департамента. Порывая далее со Старым порядком, было решено использовать политически нейтральные названия (лесов, гор, рек, озер и т.д.): восточная часть Пуату стала Вьенной, центральная — Дё-Севр и только с западной вышла заминка. Вопрос упирался в принципиальнейший спор о «столице», на роль которой претендовали сразу несколько городов (Фонтене-ле-Конт, Люсон, Сабль-д'Олонн). Наследие прежних традиций предоставляло каждому из них весомые аргументы в его пользу³⁰.

26 января 1790 г. был создан новый департамент с центром в Фонтене, активно предлагавшим «свою» реку в качестве его официального названия (Ван-

²⁶ Бродель Ф. Что такое Франция? Т. 1. М., 1994. С. 22—101; Чудинов А.В. Смена вех: 200-летие Революции и российская историография // Французский ежегодник 2000. С. 13—17; Le Bras H., Todd E. L'Invention de la France. P., 1981.

²³ Матьез А. Французская революция. Ростов-на-Дону, 1995; Forrest A. Op. cit. P. 155.

Бродель Ф. Ук. соч. Т. 1. С. 59.

Tulard J., Fayard J.-F., Fierro A. Histoire et dictionnaire de la Révolution française (1789-1799). P., 1998.
P. 1050-1051.

²⁴ Atlas de la Révolution française / Sous la dir. de S. Bonin, C. Langlois. T. IV: Le territoire: Realité et représentations.

²³ Бродель Ф. Ук. соч. Т. 1. С. 64-75; Certo M., de, Julia D., Revel J. Une politique de la langue. La Révolution française et les patois. P., 1975.

³⁶ Летифорд С.Е. «Вандея» — судьба одного понятия // Новая и новейшая история. Межвузовский сборник научных трудов. Саратов, 2000. Вып. 19. С. 39-42; Chassin Ch.-L. La préparation de la Guerre de Vendée. P., 1892. Т. 1. Р. 106.

дея). 21 февраля яростные оппозиционеры заключили союз с 4 из 6 дистриктов и потребовали перенесения *chef-lieu* в Ла Рош-сюр-Йон — ничтожный поселок (800 жителей), совершенно лишенный промышленности. Его преимущества заключались в «срединном» географическом расположении. Несмотря на прикрытую «разумностью» риторику, реальным мотивом развернувшейся борьбы было страстное желание реванша. В самом Париже действовало настоящее лобби, получавшее от своих доверителей инструкции и деньги на подкуп депутатов³¹. Только к 1791 г. междоусобные распри городов-конкурентов отошли на второй план, уступив место иным животрепещущим проблемам (продажа национальных имуществ, гражданское устройство духовенства).

Заметное влияние на поведение населения оказывала внутренняя организация локализованного пространства. Так, топография политической активности часто выявляла жесткое противостояние социально схожих общностей. Ориентируясь на огромное количество новых данных и собственные исследования, английский историк К. Лукас выдвинул идею о целесообразности учета не только «горизонтальных» (между группами, «классами»), но и «вертикальных» конфликтов, далеко выходящих за рамки схематических оппозиций¹². Уровень материальной обеспеченности и профессиональный статус индивидов отступают на второй план перед своеобразной клановой системой, опирающейся на семью, как первичную ячейку, и основанной на принципе родства (клиентурно-патерналистские взаимоотношения).

В период с 1790 по 1792 гг. властные полномочия в департаменте Вандея оказались под контролем городской элиты, «судейского сословия», буржуа-землевладельцев. Анализ процентного соотношения избранных на должности в местную администрацию очень красноречив: в 1788 г. среди исполнявших обязанности чиновников 58% происходили из семей зажиточных крестьян-пахарей (laboureurs); 8% — из семей крестьян-арендаторов; 21% были представителями «судейского сословия» и буржуа-землевладельцев. В 1790 г. ситуация радикально изменяется в пользу немногочисленной городской элиты, занимающей теперь 63% в аппарате местного самоуправления против 23% «людей земли». Наконец, выборы V года Республики (1797 г.) выстраивают пропорцию 12:1 (83% и 7% соответственно)³³. Революция, таким образом, все более выступала в образе городских буржуа, для которых государственная служба мало-помалу оборачивалась профессиональным занятием.

«Достаточно было немного образования и некоторой видимости гражданского сознания, чтобы приобрести частицу власти... Обладание печатью, гербовыми бланками и получение официальных бумаг придавали общественным служащим ореол превосходства и ощущение вседозволенности. Они использовали свое положение и злоупотребляли им, принимая решения, составляя документы, выдавая самые различные справки, визирование которых уподобляло их подпись вознаграждению, а отказ от нее — наказанию»³⁴. Мы видим людей прежних сеньориальных администраций, с возмущением говорили вандейские крестьяне, «привыкших жить плодами слез своих сограждан», но получающих сегодня все те же преимущества от нового политического порядка³⁵.

Местные органы власти имели значительную автономию. Попытки парижских законодателей создать жесткую централизованную модель управления с эффективными механизмами «обратной связи» наталкивались на упорное сопротивление. «Единой Франции не существует, — писал Ф. Бродель, — говорить

³¹ Chassin Ch.-L. Op. cit. T. 1. P. 106-118; Ozouf-Marignier M.-V. La formation des départements: La représentation du territoire français à la fin du XVIII-e siècle. P., 1989.

³² Lucas C. Résistances populaires à la Révolution dans le sud-est // Mouvements populaires et conscience sociale XVI-XIX-e siècles. Actes du Colloque. Maloine, 1985. P. 476.

³³ Gérard A. Pourquoi la Vendée? P., 1990. P. 183-185.

³⁴ Bouloiseau M. La République jacobine. 10 août 1792 — 9 thermidor an II. P., 1972. P. 218-219.

³⁵ Цит. по: Gabory E. Les guerres de Vendée. P., 1998. P. 36.

следует о многих Франциях», причем не столько провинциях, сколько их отдельных «краях» (рауѕ), порождающих определенный тип человека и определенный образ жизни³⁶. Действительно, первая широкая кампания пропаганды революционных идей в массах, вызванная декретом о гражданском устройстве церкви (1791 г.), выявила множество недоразумений. Динамика появления/исчезновения, успеха/провала народных обществ и прессы отличались от привычных дуальных моделей предпочтения (бедные—богатые, город—деревня, грамотные—неграмотные). Напротив, основой лояльности к «красным кюре», сельским Маратам и якобинским клубам были «политические альянсы» (А. Бенджебар), «корпорации», связанные узами материального интереса и родства³⁷, а классическая вертикаль соподчинения (столица—провинция) в схеме циркуляции информации дополнялась горизонталью автономности (департамент—департамент). Общирная зона самодостаточной замкнутой цепи местных газет охватывала все западное атлантическое побережье, где новости двигались морем, минуя Париж³⁸.

Независимость местной администрации отчасти подпитывалась и общей политической ситуацией в стране. Так, результатом бесконечного умножения разнообразных комиссий и комитетов стала развернувшаяся на всех уровнях жесткая борьба за приобретение, удержание, защиту и укрепление позиций в этих органах. Революционные комитеты, народные общества, комиссары и выборные должностные лица в кантонах, дистриктах и коммунах находились в постоянном соперничестве. К 1793 г. Париж и Конвент перестали быть центрами правительственных инициатив. Институциональная анархия оформила специфический образ представителя в миссии. По справедливому замечанию П. Генифе, отныне депутаты, направляемые на места, не могли восприниматься в качестве комиссаров, действующих на основании фиксированных полномочий. «Они сами были Конвентом, непосредственно в их лице посещающим департаменты»³⁹. Наделенные, следовательно, неограниченной властью, принадлежащей самой Ассамблее, освобожденные от обязательства предоставления отчета о принимаемых мерах, они реально располагали практически полной свободой действий, используемой каждым из них согласно его темпераменту, убеждениям и интересам. Окружавшие их многочисленные агенты с более или менее значительными должностными функциями усугубляли и без того полную неразбериху, порожденную беспорядочным увеличением административно-политических звеньев.

События Французской революции окончательно оформили представление о Париже, как иной цивилизации, наделенной главными добродетелями эпохи: республиканским строем, патриотизмом, моральным долгом законопослушания. С одной стороны, претензия на исключительность раздражала не только противников столичного централизма, но и провинциальных якобинцев, оскорбленных в чистоте своих чувств. С другой — закономерная подозрительность к «периферии» в лучшем случае оборачивалась идеей патронажа. Даже самые тактичные из представителей в миссиях не скрывали своего культурного превосходства: если крестьяне не являлись агентами мятежных дворян и священников, то оставались все же доверчивыми глупцами со сла-

[»] Бродель Ф. Ук. соч. Т. 1. С. 26-32.

Peyrard Ch. Peut-on parler de jacobinisme rural dans l'Ouest? // La Révolution française et le monde rural. Actes du Colloque. P., 1989. P. 367-380.

Didier B. La Feuille villageoise: un dialogue Paris-Province pendant la Révolution? // Aux origines provinciales de la Révolution. Actes du Colloque de Vizille. Grenoble, 1990. P. 267–278; Edelstein M. La Feuille villageoise. Communication et information dans les régions rurales pendant la Révolution. P., 1977; Wauters E. La dialectique province-Paris dans la presse des départements: entre vie politique locale et réseaux nationaux d'opinion // Annales historiques de la Révolution française. P., 2002. Vol. 330. №4. P. 71–85.

⁷⁹ Генифе П. Ук. соч. С. 222-224.

Forrest A. Op. cit. P. 167-169.

бой гражданской ответственностью⁴¹. Описанный патернализм был, разумеется, неизмеримо предпочтительнее процесса создания в *chef-lieu* революционного трибунала или появления на его центральной площади передвижной гильотины, хотя и отводил добропорядочным провинциалам сугубо второстепенную роль.

Вместе с тем, теоретически всемогущественные, практически комиссары Конвента являлись столь же заложниками, сколько и господами тех, за кем они должны были наблюдать и кем призваны были руководить. Часто плохо информируемые о состоянии дел на местах, понукаемые, улещиваемые и манипулируемые различными существующими кланами, они становились немаловажной частью соперничества и конфликтов, сохраняющих лишь очень отдаленную связь с революционными целями. Подчиненность региональных властей представителям в миссиях оставалась скорее идеалом, чем реальностью, ибо фактически администрация департаментов обладала заметной самостоятельностью.

Неудивительны, с этой точки зрения, участившиеся в последнее время призывы пересмотреть утвердившиеся представления о «локальных тиранах», «сюртеррористах», «профессиональных революционерах»⁴². Там, где комиссары вступали в сложную игру обстоятельств и отказывались от субъективной интерпретации государственных законов (Марсель), кровавый якобинский «занос» и жертвы были минимальными. Если же, как в Вандее, самозваные деспоты добивались власти в ходе борьбы соперничающих кланов (часто без традиционных «корней» и потому особо жадных до эфемерных полномочий), происходила крайняя экзальтация и репрессии принимали угрожающий характер прямого истребления⁴³.

Итак, в противовес строгой упорядоченной системе власти (якобинскому централизму) существовала запутанная иерархия прежних привилегий, целый лабиринт новых и старых элементов, причудливо переплетавшихся в сложный конфликтный узор. Регионы расценивали себя отнюдь не «землями миссий» (terres de mission), но цитаделью настоящих французов и убежищем добродетели, противоядием от парижской спеси и политической неуравновешенности санкюлотов⁴⁴. Напротив, Конвент четко определил природу своего могущественного оппонента, имя которому — партикуляризм. «Федерализм и предрассудки, — закономерно утверждал Б. Барер, — говорят по-бретонски; эмиграция и ненависть к Республике — по-немецки, контрреволюция — по-итальянски; фанатизм — на языке басков»⁴⁵.

...Всюду непрекращающиеся крестьянские восстания. Против кого, спросите вы? Против белых и против красных, смотря по тому, чья власть утвердилась. Вы скажете, ага, мужик враг всякого порядка, он сам не знает, чего хочет. Извините, погодите торжествовать. Он знает это лучше вас, но хочет он совсем не того, что мы с вами...

(Пастернак Б.Л. «Доктор Живаго»)

Провал «гражданской педагогики» объяснялся, впрочем, не только недостаточным учетом специфической обстановки на местах, но и плохим знанием самого объекта «воспитания» — крестьянского общества. Так, несмотря на пестроту и даже контрастность в агропромышленном и социокультурном развитии, сельские «миры» королевства были едины в главном — общинной организации.

Принципиальная ограниченность социального пространства объясняется самодостаточностью крестьянского социума, его «обращенностью на самое себя», однако крестьяне воспринимали себя частью гораздо более обширного мира. «Две

⁴¹ Biard M. Les provinces vues de Paris: des terrse de mission (1793–1795)? // Annales historiques de la Révolution française. 2002. Vol. 330. №4. P. 41–70; Cobb R. Paris and Its Provinces. Oxford, 1975.

⁴² Gérard A. Par principe d'humanité...; Gough H. Op. cit.; Lucas C. La structure de la Terreur...

⁴³ Cm.: Baecque A. de. Approviser une histoire déchaînée. P. 858-859.

[&]quot; Wauters E. Op. cit. P. 72-73.

⁴⁵ Цит. по: Certo M. de., Julia D., Revel J. Op. cit. P. 10-11.

традиции являются взаимозаменяемыми. Большая и малая традиции долго воздействовали друг на друга, и такое взаимодействие продолжается». Их следует понимать в виде «двух течений мысли и действия, отличных друг от друга и вместе с тем впадающих одно в другое и вытекающих одно из другого» 46. Включение «малой» традиции в «большую» есть универсализация; противоположный по направленнности процесс можно назвать локализацией. Как символ надобщинного притяжения, формально объединявший мириады сельских автаркий, монарх в этой системе «диалога» занимал заметное место в мировосприятии крестьян.

Совмещение и переплетение двух различных «горизонтов» имеет глубинной основой двойственность положения крестьянства в окружающем обществе, аспекты которого можно обозначить терминами «зависимость» и «автономность». Эта последняя выражается, во-первых, в хорошо известной «атемпоральности» — сохранении специфических черт, восходящих к ранним формам социальности (личностные связи, особые формы господства—подчинения, психология земледельческого труда). Во-вторых, в своеобразной «экстерриториальности» — удержании какой-то части бытия и сознания вне непосредственного контроля государства⁴⁷. «Автономность» отнюдь не отрицала связанной с ней «зависимости». Характерной чертой, однако, оставалось навязывание представителям высших слоев ее патриархальной формы, накладывавшей на правителя, государство определенные обязанности перед нижестоящими⁴⁸.

В соответствующих культурно-исторических пределах превышение «зависимости» и снижение «автономности» воспринимались как произвол, угнетение, покушение на устои мира. Но это был отнюдь не сигнал к изменению существующего порядка, а признак его расстройства. Другими словами, подняв восстание, крестьяне стремились восстановить положение, существовавшее до тех изменений, что явились непосредственной причиной их выступления⁴⁹.

Бунт, толпа, протест здесь являются средствами общения с властью, утверждения и защиты своего места в обществе. И если в теории абсолютизм единолично занимает публичную сферу, управляет безропотно ему подчиненными индивидами, то на практике народ сохранял за собой право вторгаться в политическое пространство эпохи, упрекая элиту в превышении «легитимных» полномочий и обращаясь к традиционной «справедливости». Он не был ни пассивным объектом государства, ни его заклятым врагом. Речь, скорее, должна идти о взаимном признании и уважении сторон⁵⁰. Не случайно визави равно апеллировали к дискурсу «добра» («добрый» король для народа, «добрый» народ для короля). Описанный процесс едва ли можно выразить в терминах господства/подчинения, сопротивления/согласия. Наиболее адекватными все же представляются «переговоры», где далекая еще от концепций общественного договора и естественных прав монархия оказалась вовлеченной в тотальное соглашательство и заразилась системной гибкостью будущего либерализма⁵¹.

Напротив, Французская революция бесцеремонно нарушила хрупкое равновесие социальных компонентов. Логика событий и идеология новых законодателей

⁴⁶ Редфилд Р. Большая и малая традиции // Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире: Хрестоматия. М., 1992. С. 200—201.

⁹ Гордон А.В. Крестьянство Востока: исторический субъект, культурная традиция, социальная общность. М., 1989. С. 165–166, 209–210; Шанин Т. Крестьянство как политический фактор // Великий незнакомец. С. 269–271.

⁴⁸ Markoff J. Peasants Protest: Claims of Lord, Church and State in the Cahiers de Doléances of 1789 // Comparative Studies in Society and History. 1990. Vol. 32. №3. P. 413–454; Roudaut F. Le message politique des sermons en breton à la fin de l'Ancien Régime // Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest. 1982. T. 89. №2. P. 143–152.

⁴⁹ Гордон А.В. Ук. соч. С. 167-169.

⁵⁰ Lucas C. The Crowd and Politics. P. 259-285.

⁵¹ Schaub J.-F. Révolutions sans révolutionnaires? Acteurs ordinaires et crises politiques sous l'Ancien Régime (note critique) // Annales. Histoire Sciences Sociales. 2000. An. 55. №3. P. 645–653.

вели к максимальному увеличению централизации. Просветительский рационализм ставил под угрозу самобытность крестьянского мира и вызывал отпор с его стороны.

«Обозленность», «одержимость», «фанатизм» — иными словами, состояние духа, граничащее с патологией, — вот с чем ассоциировалась в первую очередь социальная борьба крестьянства. Стереотип просвещенного мнения прочно связал ее «бессмысленность» с «беспощадностью бунта». Сколь бы ни правдоподобна была эта картина, она упрощает дело. Не преуменьшая момента взрыва, высокой психической (как и физической) активности, которая резко контрастирует с внешней апатичностью крестьян в «мирный период», мы должны все же отрешиться от образа бунта как внезапного явления, подобного deus ex machina. За рутиной крестьянского бытия, за привычным подчинением господствующему порядку обнаруживаются повседневные формы сопротивления (притворство, дезертирство, мелкое воровство, симуляция непонимания, злословие, поджог и др.)⁵².

На фоне подобной прозаической, но постоянной борьбы между крестьянами и теми, кто требовал от них труда, продовольствия, налогов, ренты и ростовщических процентов, открытые формы сопротивления видятся отдельными вершинами, на восхождение к которым простолюдины решались лишь в порыве крайнего отчаяния. Не одно столетие в общественной мысли и науке традиционные формы протеста уподоблялись разрушению, «хаосу». Но в отличие от новоевропейского восприятия социального порядка, разводящего «космос» и «хаос» по разным сторонам бытия, исследователь народных восстаний имеет дело с сознанием, архетип которого — регулярное (календарное) воссоздание «космоса» из «хаоса», их постоянный круговорот.

В крестьянском восстании зримо проступают контуры социогенеза. Прежде всего бросаются в глаза черты лиминальности, свойственные «ритуалам перехода» (деиерархизация, инверсия статусов). Они выражаются в открытом, демонстративном нарушении многочисленных предписаний относительно поведения, речи, жестов и т.д., неподчинении «старшим» («праздник непослушания»). Различные обряды, включавшие массовые танцы, песни, хороводы, символизировали переход от будничного к праздничному в его архаической интерпретации (как апофеоз духовной деятельности коллектива и индивида). Есть, наконец, основания поставить вопрос и о реминисценции практики жертвоприношений. Наблюдателей, как правило, поражало, что ярость крестьян нередко обращалась против людей, видимо непричастных к произволу. Не были ли они жертвами, которые обрекались на заклание древними обществами во имя поддержания и восстановления космического порядка? Отсюда — крайне грубые формы расправы, превращавшиеся порой буквально в раздирание человека на части еще живым⁵³.

Подобные рецидивы дикости, которые с пролитой кровью утрачивали свой смысл, означали возвращение к традиции убийства в условиях, когда возникало ощущение смертельной опасности для существования сообщества, а способность государства сохранять монополию на применение насилия — как в 1789 г. — ослабевала. Это время самых иррациональных слухов, дающих, однако, непонятным вещам объяснение, убедительное в том отношении, что оно указывает объективный, идентифицируемый и внешний источник угрозы. Слух, разоблачение, опознание, кара: насилие в данной связи представляется средством, способным предотвратить ниспровержение естественного хода вещей путем устранения виновного, которого физически убивают, а символически отторгают как чужеродный и вредный элемент, дабы этой жертвой восстановить сплоченность и онтологическую целостность коллектива^м.

⁵² Скотт Дж. Оружие слабых: повседневное сопротивление и его значение // Великий незнакомец. С. 285—287.

⁵³ Гордон А.В. Ук. соч. С. 167-168.

Sercé Y.-M. Fête et révoltes. Des mentalités populaires du XVII au XVIII-e siècles. P., 1976; Delumeau J. La Peur en Occident (XIV-XVIII-e siècles). Une cité assiégée. P., 1980; Le Roy Ladurie E. Révoltes et contestations.

Отличительной чертой беспорядочного коллективного насилия были стихийность, точечность, локальность, отсутствие далеко идущих целей. Несомненно, оно лежало в основе некоторых драматических эпизодов Французской революции, но 1789—1794 гг. составляли в его истории лишь очень короткую главу. Вместе с тем, несмотря на сохранение многих традиционалистских характеристик⁵⁵, народный протест принял качественно новые формы: аморфное политическое движение (бунты, пассивность) стало направляемым, обрело широкий смысл и размах (гражданская война)⁵⁶.

Упорное сопротивление и его институционализация («католическая и королевская армия») способствовали разочарованию в возможности вернуть «заблудший народ» на путь истинный мерами одной «гражданской педагогики». Мы исчерпали все возможности образования, заявили представители в миссиях, нам ничего не осталось, как применить силу⁵⁷. Идеологическое «оправдание» репрессий происходило через разделение (до противоположности) понятий «человек»/«гражданин» и последующее лишение восставших человеческого облика⁵⁹. Мятежные крестьяне — не граждане и даже не люди, но «свинский сброд», негодная «раса разбойников», подлежащая физическому уничтожению. Определение их неразумными, невежественными и ослепленными предрассудками существами («дикими животными») позволяло дать очень удобный и одновременно привычный ответ. Действительно, XVIII в. не знал иного мнения о массе, «черни»; революция, напротив, обожествляла «народ». Она поклонялась абстрактному идеалу, представляя его то как юридический принцип (суверен), то как литературный образ (добродетельный землепашец и честный ремесленник), не имевший ничего общего с реальностью.

Вновь возникшая коллизия уже не могла быть разрешена дискурсом «заблуждения». Непредсказуемость и политическая опасность «толпы» нуждались в ином объяснении. Народ, вышедший из рабства, впервые получил полную свободу, а потому является, в сущности, ребенком, не умеющим ей разумно воспользоваться. Совершенно естественно, следовательно, говорит Ж.П. Бриссо, что он иногда «разбивает собственное творение, выступая против им же самим установленных властей» Библейская метафора сменилась семейным патернализмом, смысловое поле которого соединяло в себе легкость ошибки с возможностью сурового наказания. Те части нации, которые не могут пройти горнила «очищения» (régénération), должны быть уничтожены, подобно засохшим ветвям фруктового дерева.

Жесткие меры Конвента, с этой точки зрения, неудивительны. Гораздо парадоксальнее другой вопрос: почему вердикт правительства упал именно на

rurales en France de 1675 à 1789 // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations. P., 1974. An. 29. №1. P. 6–22; Mousnier R. Fureurs paysannes. Les paysans dans les révoltes du XVII-e siècle (France, Russie, Chine). P., 1967.

⁵⁵ Рюде Дж. Народные низы в истории. 1730—1848. М., 1984; Huard R. Existe-t-elle une «politique populaire»? // Mouvements populaires et conscience sociale XVI-XIX-e siècles. P. 59-68; Lefebvre J. Foules révolutionnaires // Etudes sur la Révolution française. P., 1954. P. 271—287; Nicolas J. La rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale 1661—1789. P., 2002; Roche D. Op. cit.

[№] Политическое поведение «неудобного класса» не поддается четкой классификации. К. Лукас предложил использовать для него термин «антиреволюция» с целью разграничения менталитета протеста с идеологией контрреволюции, заметно различавшихся по форме, содержанию и социальному составу участников (см.: Lucas C. Résistances populaires à la Révolution dans le sud-est...; Mazauric Cl. Autopsie d'un échec: la résistance à l'anti-révolution et la défaite de la contre-révolution // Les résistances à la Révolution. Р. 237-244). Однако попытки применить данное понятие к Вандее вызвали серьезные возражения (см.: Dupuy R. Esquisse d'un bilan provisoire // Ibid. Р. 473), а переокмысление самого понятия «контрреволюция» практически обесценило эвристическую значимость дихотомии (см.: Натрооп N. La Contre-révolution a-t-elle existé? // Ibid. Р. 462-468).

⁵⁷ Gérard A. Par principe d'humanité. P. 353-439; Muller Ch. Op. cit. P. 109.

³² Bell A. Le caractère national et l'imaginaire républicain au XVIII-e siècle. P. 880-883.

³⁹ Viguerie J. de. Op. cit. P. 37-40.

[.] Цит. по: Muller Ch. Op. cit. P. 111.

Вандею? Тенденция последних лет состоит в навязывании «адским колоннам» генерала Тюрро статуса исключительности. Тон в изучении рассматриваемых проблем задают историки неоконсервативного направления (П. Шоню), стремящиеся к тотальному «развенчанию» революции, воспринимаемой в основном сквозь призму крайностей, жестокости, террора61. Тема шуанерии их особенно привлекает, поскольку речь идет о беспощадной войне, сопровождавшейся беспрецедентными репрессиями. Попытки точного подсчета жертв якобинской Республики способствовали возникновению оживленной дискуссии по поводу термина: «франко-французский геноцид», «истребление», «тактика выжженной земли»62. Однако в большинстве случаев позиция исследователей выражает не столько реальные события, сколько их негативный психологический настрой. Литературная яркость образов, за единичными исключениями, не выдерживает научной критики и подчас вызывает весомые возражения. Наиболее аргументированными здесь представляются концепции П. Генифе и А. Жерара.

Террор, с точки зрения П. Генифе, отличается от остальных форм насилия своей осознанной, рациональной природой и направлен на достижение определенного эффекта. Его специфические особенности — предумышленный характер и категориальное различие между реально преследуемой целью и жертвой. Напротив, истребление предпринимается не для того, чтобы кого-нибудь напугать, и не служит отдаленной цели. Его задача состоит в уничтожении без остатка всех тех, кто для него одновременно являются и жертвами, и целью⁶³.

Вместе с тем Вандея не была уникальным феноменом. Сходные движения возникали всюду на юге (Прованс, долина Роны, Лангедок) и юго-западе Франции⁶⁴. Мысль об исключительной опасности «католической и роялистской армии», следовательно, вызывает сомнение. Конечно, вандейцы представляли угрозу Республике, но они не были ее единственными врагами. Бросается в глаза и показательность действий Конвента, даже если принять, вслед за автором, что утопления в Нанте производились по ночам и публика не присутствовала при кровавой бойне, устроенной людьми Тюрро. Важен, на наш взгляд, результат, обративший регион в назидательную притчу для настоящих и будущих мятежников. Так, в ноябре 1793 г. департамент Вандея многозначительно переименовали в Отомщенный⁶⁵, и онтологическое единство цели и жертвы, характерное истреблению, оказалось нарушенным. Перед нами классическая триада террора: террорист—жертва—объект, где государство (террорист) наносит удар по опреде-

⁶¹ См.: Блуменау С.Ф. От социально-экономической истории к проблематике массового сознания. С. 189, 228—237.

⁶² Fournier E. La Terreur bleue: première phase de l'extermination des Vendéens, décrétée par le Pouvoire: 17 octobre — 23 décembre 1793. P., 1984; Idem. Turreau et des colonnes infernales: deuxième phase de l'extermination: 1-er janvier 1794 — 9 thermidor, 27 juillet 1794. P., 1986; Hussenet J. La guerre de Vendée: combien de morts? // Recherches vendéennes. №1. 1994. P. 39–89; Lebrun F. La Guerre de Vendée: massarer ou génocide? // Histoire. №78. Mai 1985. P. 93–99; №81. Septembre 1985. P. 89–101; Vendée: les crimes des colonnes infernales // Ibid. №176. Avril 1994. P. 84–93; Langlois Cl. La Révolution malade de la Vendée // Vingtième siècle. №14. Avril-juin 1987. P. 63–78; Martin J.-C. La Vendée et la Révolution, nouvel épisode // Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest. 1986. T. 93. №3. P. 351–355; Lebrun F. Reynald Secher et les morts de la Guerre de Vendée // Ibid. P. 355–360; Martin J.-C. Est-il possible de compter les morts de la Vendée? // Revue d'histoire moderne et contemporaine. 1991. T. 38. №1. P. 105–121; Secher R. Le génocide franco-français: La Vendée-Vengé. P., 1986; Petitfrère Cl. La Vendée en l'an II: Défaite et répression // Annales Historiques de la Révolution française. 1995. Vol. 300. №2. P. 173–185.

⁶³ Генифе П. Ук. соч. С. 17-22.

La Vendée dans l'Histoire. P. 193-240, 371-462; La Contre-Révolution en Europe (XVIII-XIX-e siècles). Réalités politiques et sociales. Résonnances culturelles et idéologiques. Actes du Colloque de Cholet (octobre 1999). Rennes, 2001; Religion, révolution, contre-révolution dans le Midi (1789-1799). Actes du Colloque de Nîmes. P., 1990.

⁶ По-французски — нгра слов: Vendée (Вандея) — Vengé (Отомщенный).

ленной части населения (жертва), чтобы запутать весь народ (объект) и предупредить его нежелательные выступления.

Вывод равно подтверждается наблюдениями А. Жерара. В обстановке острого политического конфликта весны-лета 1793 г. из обычного контрреволюционного восстания монтаньяры намеренно создали гражданскую войну, использовав ее для дискредитации жирондистов, не оказавших противодействия крестьянскому движению. 17 октября 1793 г. восставшие потерпели сокрушительное поражение. Однако разгоревшаяся в Конвенте ожесточенная борьба группировок стимулирует создание «адских колонн» Тюрро, и старое оружие снова пускается в ход, теперь уже против «снисходительных». Вплоть до последнего момента, считает автор, Вандея (жертва) служила максималистам (террорист) великолепным «аргументом» в деле устрашения соперников (объект)67. Печально известный декрет об уничтожении «расы разбойников» (1 августа 1793 г.) поместил ее в философски абстрактный образ абсолютного врага, контрреволюции вообще, и речь, следовательно, может идти не столько о реальной и самой опасной угрозе (оправдании истребления), сколько о символе (свидетельстве скрытой цели террора).

Очевидно, таким образом, что авторы отчасти идут против собственной логики, называя события 1793—1796 гг. «заносом», трагическим исключением, недоразумением, «детской болезнью» демократии, проявлением иррационального. И если в целом невозможно отрицать существования истреблений во Французской революции как одной из форм насилия, то Вандея все же представляется олицетворением самой сути террора, закономерным завершением и предельной реализацией его эловещего потенциала.

Résumé

C'est déjà banal mais ça mérite encore d'être rappelé que l'histoire de la Révolution française a été faite et refaite bien des fois au point de vue de partis différents où la Terreur — épisode principal — est l'objet d'interprétations les plus contradictoires. Quand commence la Terreur et peut-on en retrouver l'acte de décès? Comment expliquer son surgissement: vient-elle de volonté générale rousseauiste, de fameuses circonstances de la «patrie en danger», des mécanismes spécifiques de la Révolution? Les travaux récents montrent clairement que le phénomène se laisse incompréhensible si on ne prête pas assez attention à son aspect provincial d'un côté, la violence «populaire» — d'un autre.

Les études locales et régionales sont legion, cependant elles décrivent la Terreur beaucoup mieux qu'elles l'analysent en prenant pour modèle ce qui s'est passé dans la capitale. Ces simples décalques de l'histoire parisienne apportent peu à l'explication de solidarités et de l'intérêt communautaire qui, dépassant une opposition sociale schématique, furent dans une certaine mesure le fond réel des polarisations de la guerre civile. La violence collective avait, quant à elle, une riche histoire dont les années 1789-1794 ne sont plus qu'un petit chapitre. Pourtant la marque d'une continuité n'excepte pas quelques nouveautés: une «foule» à peine tolerée sous l'Ancien Régime a été transfotmée en un «peuple» — symbole et divinité de la Révolution.

La Guerre de Vendée est donc un sujet privilégié unissant deux pistes ainsi tracées. En effet, c'est un endroit où par sa variété, sa brutalité et ses horreurs la violence réciproque a atteint son apogée. Et il faut y insister: la Terreur n'est pas un «dérapage» mais une mécanique révolutionnaire poussée à son but logique.

[&]quot;Gérard A. Par principe d'humanité. P. 113-132.

⁴⁷ Ibid. P. 379-381.